

Лидия  
ЧУКОВСКАЯ

СОФЬЯ  
ПЕТРОВНА



Москва  
2024

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ч-88

**Чуковская, Лидия Корнеевна.**

Ч-88 Софья Петровна / Лидия Чуковская. - Москва : Яуза : Эксмо, 2024. - 576 с.

ISBN 978-5-04-198740-4

«Софья Петровна» – одна из главных книг русской литературы о Большом терроре. Свою знаменитую повесть писательница и редактор Лидия Чуковская (1907–1996), дочь Корнея Чуковского, написала в Ленинграде зимой 1939–1940 годов без какой-либо надежды на публикацию. В 1937 году был арестован и в 38-м расстрелян ее муж. Два года она провела в тюремных очередях, в безуспешных попытках выяснить его судьбу. Спустя годы Лидия Корнеевна так скажет об этом страшном времени: «Я хотела написать книгу об обществе, поврежденном в уме; несчастная, рехнувшаяся Софья Петровна отнюдь не лирическая героиня; для меня это обобщенный образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходившего...» В середине 1960-х годов повесть опубликуют на Западе, но в нашей стране она станет доступна читателю лишь в 1988 году. В данное издание помимо «Софьи Петровны» вошли две автобиографические повести Л.К. Чуковской – «Прочерк», в центре которой короткая жизнь ее репрессированного мужа, талантливого физикатеоретика, и «Спуск под воду», посвященная кампании по борьбе с «безродными космополитами» в последние годы правления Сталина.

«При всех мыслимых достоинствах будущих повестей и рассказов, написаны они окажутся уже в иную эпоху, отделенную от 1937 года десятилетиями. Моя же повесть писалась по свежему следу только что происшедших событий. В этом ее отличие от произведений, которые будут посвящены 1937–1938 годам когда бы то ни было...» (Лидия Чуковская)

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-198740-4

© Чуковская Л.К. (наследники), 2023  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024  
© ООО «Издательство «Яуза», 2024

**СОФЬЯ ПЕТРОВНА**



После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла: как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством,

немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя. «Будет готово через двадцать пять минут, — говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы. — Ровно. Нет, ровно через двадцать пять, не раньше», — и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы, — если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят миловидные девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше: как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы — повесть или роман, — и хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, она все-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике — но зато в воротничке из старых настоящих кружев, — с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно, — беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, — а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив», держала

себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглуую горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртowała с Федором Ивановичем... И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные — а весь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный лысый, но молодежавый бухгалтер: оказывается, он узнал Софью Петровну — когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западноевропейскими танцами — и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине.

Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки — самые справедливые судьи. Право, — сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, — они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы». Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну — с ним приходил завхоз. Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом: как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена», и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве — и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола — глубокие мягкие кресла, а на столе — целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк», — сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдви-

женец, — и действительно, руки у него, кажется, грубые, — но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем «Форде». После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. «Мы должны кон-стан-тировать...» — скучно говорил он и умолкал. «Наш производственный портфель...»

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок, истерическим голосом, она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала, о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива — не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки. «Впрочем, — сказал он, — надо признать, что машинописное бюро под руководством товарища Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью».

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась наконец посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

## 2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды в коридоре к Софье Петровне подошел хмурый парторг. «Партийная организация совместно с месткомом, — сказал он, глядя, по обыкновению, в пол, — наметила тебя... — он поправился, — вас... давать обещание от имени беспартийных активистов».

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало все какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машины глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать. — Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна. — А еще носит камео, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его... — Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгода. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица...» — думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но, когда она подала заявление в комсомол, — ее не приняли. «Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, — говорила Наташа, щурясь. — С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно...»

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах — сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как замороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи. — От имени беспартийных работников, — сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда — все, что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус. «Какая жалость, что вы не служите, — сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. — Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно если ваша служба имеет касательство к литературе».

...Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как... «знаешь, мама? — сказал он, — я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал. «Сашка Ярцев — этакий старорежимный балбес... («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», — перебила Софья Петровна.) Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»

Пужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. «Правда, мама, гениально?» — и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», — сказал Коля и сейчас же заснул.

### 3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне все не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает наконец всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить наконец на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна по служебной привычке все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни,

с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка навевывалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался... «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна. — Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой — семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок. «Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? скажи!» — строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир. И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха: даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они все еще пишут с ошибками.

В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в ЖАКТе и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну в кухню попробовать: довольно ли сахару? Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне — посоветоваться с Колей: что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай бог, снова не остались на второй год? и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре. «Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит!» — говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крюк. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни получки Валя начинала кланчить у матери денег на новые туфли. «Ты не воображай, кобыла», — ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы

не слышать продолжения, — в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем квартира 46 была благополучной, тихой квартирой — не то что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся — между кухней и комнатой — и кончился, к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего сада, вдавленные в грязь каблуками, — и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в десять часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, шелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она клеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше — но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и, уже не стесняясь, громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они на радостях решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооруже-

жали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату — и не то что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван — к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона. Они строга-ли, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретенье. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала

салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, — это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кайши — она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

8 марта 1934 года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой, поздравление в день 8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

#### 4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не двести пятьдесят, а триста семьдесят пять. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро: чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны

Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне — какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый — сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работающий, но где уж ему до Коли? Отец его — переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он щупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него все еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни? Коля, кажется, там в институте влюбился в кого-то: она искусно допрашивала Алика — в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители? Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали и серьезная ли это любовь или только увлечение, — все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате... но впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что же? ничего!..

Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там не хватало итээровцев. Институт же им предоставляли возможность кончить заочно. «Ты не беспокойся, мама, — сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны, — ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь что? ты будешь нам посылки посылать».

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комоде, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда все был через неделю и вдруг оказался завтра. «Коля, ты уже готов, Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами. — Что?»